

*Адолф
Арицишевский*

КРУТАЯ ИЗЛУЧИНА

С ним рядом было тревожно, он не давал расслабиться, и не всякий выдерживал такое общение. Но с ним рядом было хорошо, потому что жизнь обретала весомость, и не жизнь вообще, а вот эти пролетающие рядом с ним мгновения.

Это был человек масштабный. Я не говорю о натуре, о его способе мышления – я говорю о житейском, бытовом. Был у него этакий купеческий размах в общении с людьми. Тут его и уподобить-то некому. Вокруг него всегда было некое коловращение людей. Причем людей несхожих, разных, они иногда с удивлением видели себя рядом (в обыденной жизни такое трудно было представимо). Конечно же, при этом шел пир горой. Человек не просто находился рядом с Олегом, что-то срабатывало в душе помимо твоей воли, и проявлялась твоя сущность. Ты начинал жить интенсивнее, как бы по другой, более плотной шкале времени. Это могло вызвать в тебе самом протест, и вызывало нередко. Потому что в сферу его притяжения попадали не только друзья и соратники, но и инакомыслящие, скрытые и явные оппоненты – он без них тоже не мог, они были ему интересны и нужны.

Каждый приезд Олега в Алма-Ату становился событием, я ничуть не преувеличиваю. Уже сама фраза «Олег приехал» или «Олег приезжает» воспринималась достаточно грозно и выбивала из привычной колеи. Ну, во-первых, вопроса, что за Олег, не возникало никогда, речь могла идти только о Постникове. Во-вторых, при этой фразе возникал синдром тревоги, готовности к бою. У наших жен суровели взгляды и появлялось сильнейшее беспокойство. Приехал Олег – это значит, муж может исчезнуть из дому, и не до поздней ночи, а до утра, причем искать его – дохлое дело. Приехал Олег – это значит, в любой момент, в любой час – день ли, ночь ли – к вам в дом может ввалиться непредсказуемая по составу и количеству компания и ошарашенно уставить на хозяев дома: «А где Олег? То есть как, его нет? Он сказал, что будет здесь!» Ну, и хозяевам приходилось волей-неволей принимать экстренные меры, чтобы соорудить в доме некое подобие бивака, поскольку никто из пришедших не мог дать гарантии, как скоро он уйдет отсюда – час спустя или сутки. При этом гости – вернее, пришельцы – извлекали принесенные с собой запасы, хлопотали у дастархана и обзванивали город в поисках запропастившегося Олега. Впрочем, он мог позвонить и сам и объявить, что будет через четверть часа, а часом позже еще раз позвонить, потом еще. Не исключено, что в недрах города в ту самую минуту он уже возглавлял



такое же сборище, и не исключено, что двум этим бивакам предопределено слиться вместе, как Арагве и Куре... Возможен был и другой вариант, более будничный и суровый: Олег либо выясняет отношения с редактором очередной своей рукописи, либо наносит визит в Госкомиздат, либо – что бывало чаще всего – взял в осаду директора издательства и выколачивает аванс.

Но как бы ни были суровы наши жены, как бы ни были они возмущены подобным сотрясением домашних устоев, появлялся Олег, и через минуту-другую хозяйка дома обретала как бы второе дыхание, пир становился полновочувственнее, раскованней.

Он мог пробыть в городе сутки, двое, трое – никто не знал толком, когда он уедет. То, что гонцы уже достали ему билет, положим, на сегодня, на вечерний поезд, ничего не значило, потому что за минуту до отхода поезда он может выйти из вагона и остаться. Душа противится отъезду.

Провожали его всегда шумно. Еще до подачи поезда на перроне возникали водовороты вокруг Олега, он улыбался всем своей неподражаемой постниковской улыбкой, он для всех был отцом, братом и даже богом – на здоровье, если кому-нибудь это угодно. Подавались вагоны, купе не было рассчитано на такое многолюдье, и знакомые Олегу, свои в доску проводники поторапливали нас на выход, потому что Олег готов был каждый раз увезти всех нас с собой в Чимкент...

Познакомились мы с ним в начале 1975 года. Работал я тогда в издательстве «Жазушы». Вот-вот должна была выйти моя первая многострадальная книжка, я добивался ее выхода девять лет. Уже шла верстка отредактированной мною книги Олжаса Сулейменова «Аз и Я». И хотя, будучи прозаиком, я прозу и редактировал, но – узок круг этих людей, то бишь издательских редакторов, и в силу производственной необходимости мне приходилось вести и поэтические сборники. Так мне и легла на стол рукопись первой книги Постникова «Крутая излучина». А вскоре и сам он объявился в издательстве, поскольку поэзию вести было некому. Он занял стол рядом со мной. Были мы погодками, общий язык нашли сразу. Он застенчиво улыбался своими синими и ясными глазами, был тих и все больше помалкивал. Но был он человеком открытого темперамента, и вскоре стало ясно, что в этой тишайшей заводи под кроткой гладью бурлят течения и страсти.

В комнате нас обитало шестеро: Виталий Старков, мы с Олегом и три дамы: две уже в возрасте – редактор и корректор – и молодая следящая за своей внешностью завотделом. Работали по возможности молча, лишь изредка и по необходимости обращались друг к другу. Олег вчитывался в строки стихов, и неважно, чьи это были стихи, важно то, что время от времени они вызывали в нем протест. И в полной тишине он вдруг бухал кулаком по столу, выражая свое несогласие. Бедные дамы едва не падали со стульев, корректор долго не могла найти свои очки, редактор начинала поправлять на себе одежду, причем не только верхнюю, завотделом встревоженно смотрелась в зеркальце и нервно подкрашивала губы. Это успокаивало.

Олег краснел, ему было неловко за переполох и за переизбыток темперамента. Все затихало, работа продолжалась, комната вновь погружалась в одуряющую тишину. И вновь, всякий раз как гром среди ясного неба, Олег бухал кулаком по столу, дамы ладонями прикрывали рукописи, будто те могли от страха улететь, и после таких стрессов было просто необходимо перекурить.

То было загадочное время, когда устраивались грандиозные, никому не нужные спектакли, так называемые демонстрации в день Первого мая и на седьмое ноября. Их репетиции шли прилюдно, начинались они дней за десять до праздников, и задействованы в них бывали десятки тысяч вроде бы разумных, но, по-моему, очень несчастных людей. Ведь что может быть горше, чем участие в абсурдном, бесполезном деле, которое отнимает у тебя силы и время жизни. Я почему говорю об этом? Наши издательские окна как раз выходили на проспект Коммунистический (бывшая Старокладбищенская улица), рядом была площадь Революции, и мы целыми днями вынуждены были слушать команды, доносящиеся из матюгальников, а мимо окон в сотый раз тянулась измочаленная колонна с каким-нибудь диким сооружением на грузовике в кумаче и бронзовой краске со вполне бессмысленными лозунгами, на созерцание которых мы были обречены, как нам казалось, до конца наших дней.

То было загадочное время, и мы были к нему приписаны, как бывали приписаны крепостные к определенному хозяину, от которого не уйти, не сбежать. Как важно было не потерять лица своего, не забыть, что оно у тебя есть... Мы наглухо задраивали окна, потому что работать под грохот духового оркестра, лай мегафона и бесконечные дубли ликования многотысячной измученной массовки было трудно. Но надо было работать, и надо было жить. Писать стихи не только к красным датам. Писать прозу, в которой был бы не только официальный восторг.

Редактором я был уже поднаторевшим, а потому готовым к самому худшему в рукописи, тем более, если это рукопись первой книги. Так вот, «Крутая излучина», первая его книга, точнее – рукопись книги. Столы наши были рядом, и Олег поневоле следил за тем, как я читаю стихи, ждал, когда я начну свои редакторские придирки, начну цепляться по мелочам и навязывать свою волю. Стихи его шли вразброс, мозаично, в том порядке, в каком были написаны. Но стихи поражали высоким профессионализмом и зрелостью. Я сказал ему об этом. Он тяжело вздохнул:

– Слава Богу. Мне все же тридцать шесть лет.

– Ну и что?

– Когда человек в тридцать шесть лет выпускает первую книгу стихов, мы вправе ожидать от него хотя бы профессионализма.

Редактура свелась к тому, что я предложил снять одно стихотворение, оно было явно слабее других, и сгруппировать стихи по циклам, то есть выстроить книгу. Тут уж, видно, сказалось мое мышление прозаика – конкретное и, как не без ехидства заметил Олег, «приземленное».

Это были стихи сильного человека. Он обладал мужеством не отводить взгляда в сторону, смотреть правде в глаза. И говорить ее – вопреки всему, но говорить – в глаза. Надо учесть при этом то удивительно подлое время, в котором Олегу пришлось жить и писать, когда говорить можно было лишь полуправду, и то не всегда, и то с немалым риском.

Человеком он был многозвучным – и потому казался громогласным. Но в многозвучии есть и тихая речь. Наверное, я соприкасался по преимуществу с той гранью его души, которая располагает к откровению, к тихому разговору. И неспешному, когда все уснули, уже давно за полночь, в небесах торжественно и пусто, и звезда с звездой говорит, вино на исходе, но есть еще что выпить, а значит, настало время для разговора о сокровенном.

Мы с ним, по-моему, обговорили все на свете, и разговоры те лежат на дне души, как скальное основание. Я бы и хотел что-либо вычленить из этого монолита, но ощущение такое, что пересказ наших разговоров чреват разрушением собственной личности. Однажды я попытался это сделать, сначала шутя, потом всерьез. Мы проговорили с ним ночь, и я соорудил из нашего разговора интервью «Весомость поэтической строки», диалог поэта и прозаика. Интервью это с нашими портретами лежало год потом в «Огнях Алатау», но его так и не дали. Тогда многое из того, о чем мы говорили, казалось крамолой...

Мы сделали с ним фенологическое открытие, найдя ту грань, когда предрассветную темень взрывает вороний грай в роще Баума, возле которой я жил. Это длится несколько секунд, потом вмиг затихает, и невидимый до того рассвет становится вполне очевидным, и эта минута есть начало дня. Нас понесло в ту утреннюю рань в оцепенелую, неподвижную рощу, в гулкое царство деревьев. И обнаружилась еще одна странность. Нам не обязательно было говорить, нам и молчалось хорошо друг возле друга. Молчание тоже было значимым, несло энергию мысли и чувства.

Олег был человеком на редкость целеустремленным. Он мог, звоня Бахыту Каирбекову по межгороду, научиться – и вполне сносно! – играть на шести-струнной гитаре и петь под гитару свои стихи не очень поставленным, слегка глуховатым, но волевым баритоном.

А петь мы любили и умели петь. Любая вечеринка вступает в ту долгожданную фазу, когда все споры-разговоры стихают как бы сами собой, и наступает желанная пауза, когда становится ясно: пришло время песни, и за столом появляется гитара. Гитаристов у нас обычно было трое: я с тремя-четырьмя аккордами на все случаи жизни, Бахыт Каирбеков – ну, этот ас, и Олег, примерный ученик Бахыта, стремящийся если не превзойти учителя, то хотя бы сравниться с ним по мастерству. Иногда появлялся Кайрат Бакбергенов – ну, это гитарист из гитаристов... Репертуар у нас был примерно один и тот же: пели Окуджаву, «Костер», «Очи черные», пели «Отраду», «Степь да степь...», «Однозвучно гремит колокольчик». Но у каждого была своя, заветная, «коронка». Бахыт пел «Сон Стеньки Разина», Кайрат – старинную солдатскую, Олег – Есенина, и все вместе – «Гори, гори, моя звезда»... Тушили свет, зажигали свечи. Живое пламя свечи заворачивало и словно бы высвечивало в каждом из нас ту потаенную, скрытую жизнь, которая не для сторонних глаз, которая как невидимый серебряный шнур, что держит душу человеческую, соединяя воедино и то, неведомое наше бытие, что было до рождения, и то, что ждет нас после смерти:

Умру ли я, ты над могилою
Гори, сияй, моя звезда!..

